



Миссис Дэллоуэй



Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое — свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Нортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей

безвозвратно ушло — до чего же странно! — кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере — сколько? уже больше двадцати лет, — даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно —ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично — вступление; потом непреложно — час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэропла-

на, — вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера извождалась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузнецу; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат крикетные биты; «Лордз», «Аскот», «Рэниле» и всякое такое; они еще одеты синеватым, матовым блестящим утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотульки-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, — сама она тоже сегодня зажжет огни: у нее сегодня прием. А странно, в парке — вдруг — какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зоба-

тые аисты; но кто же это шествует, выступая, как ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбрэд, старый друг Хью — дивный Хью!

— День добрый, Кларисса! — сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. — Чему обязан?

— Я люблю бродить по Лондону, — сказала миссис Дэллоуэй. — Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали — увы — из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; вывозить дочерей; Уитбрэды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбрэд в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Ивлин изрядно расклеилась», — сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр — вздувания и сокращения, что ли, — и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Дэллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помахивая

шляпой и уверяя Клариссу, что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, — Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бордоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту или отвезти ее в Бат, он без слова повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена — так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть несносным; совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса. Танцы, верховая езда — она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались — она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма — сухие, как деревянные; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого — спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймский парк в одно прекрасное утро — возьмет и придет. Только Питер — какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, — Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему — и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома — так он ее назвал (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, — конечно, права! — что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она — ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой — она же не стала спрашивать.) А с Питером всем надо было б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда до-

шло до той сцены в том садике, около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная — хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив — он уверял, — совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день — очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий;

и все равно — как это захватывает; все это; скользкие такси; и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее — чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду — она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон — бездна народа; танцевали всю ночь до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин. Но подумаешь, мало ли кто что помнит; а любит она — вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот — даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее — она убеждена — есть в родных деревьях; в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и разваленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как деревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину

Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшись
И зимы свирепой бурь.

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, — как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока» и «Мистер Спонж», «Мемуары» миссис Асквит, «Большая охота в Нигерии» — все лежали распахнутые. Бездна книг, но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбрэд в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неопишимо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда тыходишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость — делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например, и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! — ду-